

Солнце мертвых

Автор:

Иван Шмелев

Солнце мертвых

Иван Сергеевич Шмелев

Русская культура

«Солнце мертвых» И. С. Шмелева – одна из самых трагичных и в то же время поэтичных книг в мировой литературе XX века. Писатель с библейской простотой описывает захват Крыма красными и «новый порядок» жизни. Но за внешними переменами взгляд художника различает большее: начало Апокалипсиса, глобального разрушения мира и человека. И все же книга оптимистична по духу. И в этом ее глубокая тайна.

Иван Сергеевич Шмелёв

Солнце мёртвых

© Издательство «ДАРЪ», 2005

© ООО ТД «Белый город», 2017

Вместо предисловия

Иван Сергеевич Шмелев – выдающийся русский прозаик, автор романов «Лето Господне», «Богомолье», «Пути небесные». Лирическая эпопея «Солнце

мертвых» – лучшая книга писателя, жемчужина русской классики XX века.

Совершенно необычен язык писателя: он полон напевности, поэзии, свежести. Из глубин народной речи черпает Шмелев силу и своеобычность художественного слова. Проза Шмелева поэтична. Скорее это стихи в прозе. Лирика, взволнованная интонация парадоксально сочетаются с масштабностью и эпической суровостью изображения разрушения вселенной. В этом тайна книги.

По глубине и тревожности испытания человеческого духа, по силе проникновения в трагические глубины жизни «Солнце мертвых» можно поставить рядом лишь с романами Ф.М. Достоевского. Но если у Достоевского были гениальные прозрения и предчувствия глобальной мировой катастрофы, то Шмелев – ее очевидец и летописец. Несомненно, «Солнце мертвых» – самая трагическая книга XX века. «Звероферма» Оруэлла, «Мы» Е. Замятина – лишь фантастическое моделирование свершившейся трагедии. «Солнце мертвых» – глубоко личностная книга, в которой каждая конкретная деталь вырастает в библейское по духу обобщение. Да и сам стиль Шмелева – библейский. Ритмика его книги перекликается с ритмикой и напевностью псалмов царя Давида. Писатель переплавил в творческой реторте самый разнородный материал и создал нечто небывалое, ранее невиданное. Недаром Томас Манн и многие иные знаменитые европейские писатели считали «Солнце мертвых» лучшей книгой Шмелева.

Замечательный литератор-эмигрант И.С. Лукаш писал о «Солнце мертвых»:

«Эта книга вышла в свет и хлынула, как откровение, на всю Европу, лихорадочно переводится на „большие языки“... Читал ее за полночь, задыхаясь...

О чем книга И.С. Шмелева?

О смерти русского человека и русской земли.

О смерти русских трав и зверей, русских садов и русского неба.

О смерти русского солнца.

О смерти всей вселенной, когда умерла Россия, – о мертвом солнце мертвых...»

«Солнце мертвых» – книга, которая не только не потеряла своего значения. Она актуальна как никогда, ибо это книга не только прошлого, но и будущего. Из нее ушли временные пласты: большевики, их зверства в Крыму и пр. Осталось главное, важное и для наших суровых дней: изображение апокалиптических подземных толчков, разрушающих жизнь и человеческую природу. И еще: умение не отчаиваться от увиденного хаоса, преобразовать его в гармонию силой человеческого духа.

Книга написана И.С. Шмелевым в трудное время: в Крыму красными был расстрелян его сын. Но «Солнце мертвых» – красивая и глубоко оптимистичная книга.

Разгадка этого парадоксального оптимизма – в эпическом, возвышающемся до библейского, видении событий. Разгадка в том, что «теперь ничего не страшно... Знаю я: с нами Бог!».

Владимир Мельник,

член-корреспондент Академии наук

Республики Татарстан,

доктор филологических наук, профессор,

член Союза писателей России

Солнце мёртвых

Утро

За глиняной стенкой, в тревожном сне, слышу я тяжелую поступь и треск колючего сушняка...

Это опять Тамарка напирает на мой забор, красавица симменталка, белая, в рыжих пятнах, – опора семьи, что живет повыше меня, на горке. Каждый день бутылки три молока – пенного, теплого, пахнущего живой коровой! Когда молоко вскипает, начинают играть на нем золотые блески жира и появляется пеночка...

Не надо думать о таких пустяках – чего они лезут в голову!

Итак, новое утро...

Да, сон я видел... странный какой-то сон, чего не бывает в жизни.

Все эти месяцы снятся мне пышные сны. С чего? Явь моя так убога... Дворцы, сады... Тысячи комнат – не комнат, а зал роскошный из сказок Шехерезады, – с люстрами в голубых огнях – огнях нездешних, с серебряными столами, на которых груды цветов – нездешних. Я хожу и хожу по залам – ищу...

Кого я с великой мукой ищу – не знаю. В тоске, в тревоге я выглядываю в огромные окна: за ними сады, с лужайками, с зеленеющими долинками, как на старинных картинах. Солнце как будто светит, но это не наше солнце... – подводный какой-то свет, бледной жести. И всюду – цветут деревья, нездешние: высокие-высокие сирени, бледные колокольчики на них, розы поблекшие... Станных людей я вижу. С лицами неживыми, ходят, ходят они по залам в одеждах бледных – с икон как будто, – заглядывают со мною в окна. Что-то мне говорит – я чую это щемящей болью, – что они прошли через страшное, сделали с ними что-то, и они – вне жизни. Уже – нездешние... И невыносимая скорбь ходит со мной в этих, до жути роскошных, залах...

Я рад проснуться.

Конечно, она – Тамарка. Когда молоко вскипает... Не надо думать о молоке. Хлеб насущный? У нас на несколько дней муки... Она хорошо запрятана по щелям – теперь опасно держать открыто: придут ночью... На огороδικе помидоры – правда, еще зеленые, но они скоро покраснеют... с десяток кукурузы, завязывается тыква... Довольно, не надо думать!..

Как не хочется подыматься! Все тело ломит, а надо ходить по балкам, рубить «кутюки» эти, дубовые корневища. Опять все то же!..

Да что такое, Тамарка у забора!.. Сопенье, похлестывание веток... обглаживает миндаль! А сейчас подойдет к воротам и начнет выпирать калитку. Кажется, кол приставил... На прошлой неделе она выперла ее на колу, сняла с петель, когда все спали, и сожрала половину огорода. Конечно, голод... Сена у Вербы нет на горке, трава давно погорела – только обглоданный граб да камни. До поздней ночи нужно бродить Тамарке, выискивать по глубоким балкам, по непролазным чащам. И она бродит, бродит...

А все-таки подыматься надо. Какой же сегодня день? Месяц – август. А день... Дни теперь ни к чему, и календаря не надо. Бессрочнику все едино! Вчера доносило благовест в городке... Я сорвал зеленый «кальвиль»[1 - Ценный сорт яблок.] – и вспомнил:

Преображение! Стоял с яблоком в балке... принес и положил тихо на веранде. Преображение... Лежит «кальвиль» на веранде. От него теперь можно отсчитывать дни, недели...

Надо начинать день, увертываться от мыслей. Надо так завертеться в пустяках дня, чтобы бездумно сказать себе: еще один день убит!

Как каторжанин-бессрочник, я устало надеваю тряпье – милое мое прошлое, изодранное по чащам. Каждый день надо ходить по балкам, царапаться с топором по кручам: заготавливать к зиме топливо. Зачем – не знаю. Чтобы убивать время. Мечтал когда-то сделаться Робинзоном – стал. Хуже, чем Робинзоном. У того было будущее, надежда: а вдруг – точка на горизонте! У нас не будет никакой точки, вовек не будет. И все же надо ходить за топливом. Будем сидеть в зимнюю долгую ночь у печурки, смотреть на огонь. В огне бывают видения... Прошлое вспыхивает и гаснет... Гора хворосту выросла за эти недели, сохнет. Надо еще, еще. Славно будет рубить зимой! Так и будут отскакивать! На целые дни работы. Надо пользоваться погодой. Теперь хорошо, тепло – можно и босиком или на деревяшках, а вот как задует от Чатырдага, да зарядят дожди... Тогда плохо ходить по балкам.

Я надеваю тряпье... Старьевщик посмеется над ним, в мешок запхает. Что понимают старьевщики! Они и живую душу крючком зацепят, чтобы выменять

на гроши. Из человеческих костей наварят клею – для будущего, из крови настряпают «кубиков» для бульона... Раздолье теперь старьевщикам, обновителям жизни! Возят они по ней железными крюками.

Мои лохмотья... Последние годы жизни, последние дни – на них, последняя ласка взгляда... Они не пойдут старьевщикам. Истают они под солнцем, истлеют в дождях и ветрах, на колючих кустах по балкам, по птичьим гнездам...

Надо отворить ставни. А ну-ка, какое утро?..

Да какое же может быть утро в Крыму, у моря, в начале августа?! Солнечное, конечно. Такое ослепительно-солнечное, роскошное, что больно глядеть на море: колет и бьет в глаза.

Только отпахнешь дверь – и хлынет в защуренные глаза, в обмятое, увядающее лицо солнцем пронизанная ночная свежесть горных лесов, долин горных, налитая особенной, крымской, горечью, настоявшейся в лесных щелях, сорвавшейся с лугов, от Яйлы. Это – последние волны ночного ветра: скоро потянет с моря.

Милое утро, здравствуй!

В отлогой балке – корытом, где виноградник, еще тенисто, свежо и серо; но глинистый скат напротив уже розово-красный, как свежая медь, и верхушки молодок груш, понизу виноградника, залиты алым глянцем. А хороши молодки! Прибрались, подзолотились, понавешали на себя тяжелые бусы-грушки – «мари-луиз».

Я тревожно обыскиваю глазами... Целы! Еще одну ночь провисели благополучно. Не жадность это: это же хлеб наш зреет, хлеб насущный.

Здравствуйте и вы, горы!

К морю – малютка гора Кастель, крепость над виноградниками, гремящими надалеко славой. Там и золотистый «сотерн» – светлая кровь горы, и густое «бордо», пахнущее сафьяном и черносливом, – и крымским солнцем! – кровь темная. Сторожит Кастель свои виноградники от стужи, греет ночами жаром. В

розовой шапке она теперь, понизу темная, вся – лесная.

Правее, дальше – крепостная стена-отвес, голая Куш-Кая, плакат горный. Утром – розовый, к ночи – синий. Все вбирает в себя, все видит. Чертит на нем неведомая рука... Сколько верст до него, а – близкий. Вытяни руку и коснешься: только перемахнуть долину вниз и взгорья, все – в садах, в виноградниках, в лесах, балках. Вспыхивает по ним невидимая дорога пылью: катит автомобиль на Ялту.

Правее еще – мохнатая шапка лесного Бабугана. Утрами золотится он, обычно – дремуче-черен. Видны на нем щетины лесов сосновых, когда солнце плавится и дрожит за ними. Оттуда приходит дождь. Солнце туда уходит.

Почему-то кажется мне, что с дремуче-черного Бабугана сползает ночь...

Не надо думать о ночи, о снах обманных, где все – нездешнее. С ночью они вернутся. Утро срывает сны: вот она, голая правда, – под ногами. Встречай же его молитвой! Оно открывает дали...

Не надо глядеть на дали: дали обманчивы, как и сны. Они манят и – не дают. В них голубого много, зеленого, золотого. Не надо сказок. Вот она, правда, – под ногами.

Я знаю, что в виноградниках, под Кастелью, не будет винограда, что в белых домиках – пусто, а по лесистым взгорьям разметаны человеческие жизни... Знаю, что земля напилась кровью и вино выйдет терпким и не даст радостного забытья. Страшное вписала в себя серая стена Куш-Каи, видная недалеко. Время придет – прочтется...

Я уже не гляжу на дали.

Смотрю через свою балку. Там – мои молодые миндали, пустырь за ними.

Каменистый клочок земли, недавно собиравшийся жить, теперь – убитый. Черные рога виноградника: побили его коровы. Зимние ливни роют на нем дороги, прокладывают морщины. Торчит перекасти-поле, уже отсохшее: заскачет – только задует Север. Старая татарская груша, дуплистая и кривая, годы

цветет и сохнет, годы кидает вокруг медовую желтую «буздурхан», все дожидается смены. Не приходит смена. А она, упрямая, ждет и ждет, наливает, цветет и сохнет. Затаиваются на ней ястреба. Любят качаться вороны в бурю.

А вот – бельмо на глазу, калека. Когда-то – Ясная Горка, дачка учительницы екатеринославской. Стоит – кривится. Давно обобрали ее воры, побили стекла, и она ослепла. Осыпается штукатурка, показывает ребра. А все еще доматываются в ветре повешенные когда-то сушиться тряпки – болтаются на гвоздях, у кухни. Где-то теперь заботливая хозяйка? Где-то. Разрослись у слепой веранды вонючие уксусные деревья.

Дачка свободна и бесхозьяна – и ее захватил павлин.

Птицы

Павлин... Бродяга-павлин, теперь никому не нужный. Он ночует на перильцах балкона: так не достать собакам.

Мой когда-то. Теперь – ничей, как и эта дачка. Есть же ничьи собаки, есть и люди – ничьи. Так и павлин – ничей.

Я не могу содержать его, роскошь эту. Он это понял и поселился на пустыре. Мы – соседи. Он как-то ухитряется жить, пережил зиму и выпустил-таки хвост новый, хоть и не совсем прежний. Временами заходит ко мне. Станет под кедром, где когда-то дремал в жару, поглядывает и ждет-пытает: «Не дашь?..» – «Не дам. Видишь – ничего нету, Павка».

Поведет коронованной головкой, хвост иногда распушит: «Не дашь?!..» Постоит и уйдет. А то взмахнет на ворота, повернется-потанцует: «Смотри-ка, какой красивый! Не дашь...»

И слетит на пустую дорогу, блеснет зелено-золотистым хвостом. Там и там покричит-позовет по балкам – пава, может, откликнется! Глядишь – уж опять бродит у своей одинокой дачки. А то пройдет за горку, в Тихую Пристань, к Прибыткам: там дети – чего и дадут, может. Вряд ли: там тоже плохо. Или к

Вербе, на горку: там иногда дают ребятишки в обмен на перья. А то повыше, на самый тычок, к старому доктору. Но там и совсем плохо.

Недавно он жил в довольстве, ночевал на крыше, а дни проводил под кедром. Собирались найти ему подругу.

Мне его больно видеть.

– ...Э-оу-аааа!.. – пустынным криком кричит павлин. Жалуется? Тоскует?

Его разбудило утро. И для него теперь день – в работе. Поднялся, расправил серебристые крылья в палево-розовой опушке, выправил горделиво головку – черноглазой царицей смотрит. На старую грушу смотрит и вспоминает, что «буздурхан» обобран. Ну, кричи же! Кричи, что и ты ограблен! Сияя голубым фиолетом в солнце, вдумчиво ходит он по балкону, шелковым хвостом возит – приглядывается к утру... И – молнией падает в виноградник.

– Ш-ши... несчастный!..

Он теперь не боится крика: вьется змеей-хвостом в лозах, оклевывает зреющие гроздья. Вчера было много исклеванных. Что же делать! Все хотят есть, а солнце давно все выжгло. Он становится дерзким вором, красавец с царственной поступью. Он открыто грабит меня, лишает хлеба: ведь виноградником питаться можно! Я выбиваю его камнями, он все понимает, зелено-голубой молнией юркает-вьется между лозами, змеится по розовой осыпи и пропадает за своей виллой. Кричит пустынно:

– ...Э-оу-аааа!..

Да, теперь ему плохо. Желудей в этом году не уродилось; не будет и на шиповнике ничего, и на ажине[2 - Колючий кустарник с ягодами, похожими на ежевику.] – все усохло. Долбит, долбит павлин сухую землю, выклеывает дикий чеснок, лук гадючий, – от него остро пахнет чесночным духом.

Летом он ходил в котловину, где греки посеяли пшеницу. Индюшка с курочками тоже ходила на пшеницу, которую стерегли греки. Пшеница – теперь богатство! Даже ночевали греки в котловине, у огонька сидели, прислушивались к ночи.

Много у пшеницы врагов, когда наступает голод.

Бедные мои птицы! Они худеют, тают, но... они связывают нас с прошлым. До последнего зернышка мы будем делиться с ними.

Солнце уже высоко ходит – пора выпускать куриное семейство. Несчастливая индюшка! У нее не было пары, но она упорно сидела и не брала корма. И добилась: высидела шестерку курочек. Чужим, она отдала им свою заботу. Она научила их засматривать в небо одним глазом, ходить чинно, подтягивая лапки, и даже перелетать балку. Она принесла нам отрадную заботу, которая убивает время.

И вот, на ранней заре, чуть забелеет небо, выпустишь подтянутую индюшку.

– Ну, ступайте!

Она долго стоит, круглит на меня то тем, то другим глазом: покормить бы надо! А ее кроткие курочки, беленькие, одна в одну, вспархивают ко мне в руки, цапаются за мои лохмотья, настойчиво, глазами просят, – стараются уклюнуть в губы. Пышные, они день ото дня пустеют, становятся легкими, как их перья.

Зачем я их вызвал к жизни?! Обманывать пустоту жизни, наполнить птичьими голосками?..

– Простите меня, малютки. Ну, води их туда... индюша!

Она знает, что нужно делать. Она сама отыскала «пшеничную» котловину и понимает, что греки ее гоняют. Грабом и дубнячком прокрадывается она в рассвете, ведет курочек на кормежку, на самый край котловины, где подходит к кустам пшеница. Юркнет со стайкой, заведет в самую середину – и начинают кормиться. Крепким носом она срывает колосья и расшелушивает зерна. Держится целый день, томясь жаждой, и только когда стемнеет, уводит к дому. Пить! Пить! Воды у меня довольно. Пьют они долго-долго, словно качают воду, и мне приходится усаживать их на место: они уже ничего не видят.

Меня немного мучает совесть, но я не смею мешать индюшке. Не мы с ней сделали жизнь такою! Воруй, индюшка!

Павлин тоже прознал дорогу. Но – вымахнет хвостом из пшеницы и попадетсЯ грекам. Они поднимают крик, гонят воров и приходят к моим воротам:

– Циво, цорт, пускаишь?! Сицась убивай курей!

Их худые, горбоносые лица злобны, голодные зубы до жути белы. Они и убить могут. Теперь все можно.

– Убей! Сам сицас убивай прокляти вору!..

Это мучительные минуты. Убивать я не в силах, а они правы: голод. Держать птицу – в такое время!

– Я не буду, друзья, пускать... И всего-то несколько зерен...

– А ти их сеиль?!. Последни зерно из глоти вирьвал! Тебе нада голову сшибаем! Все памирать будим!..

Они долго еще кричат, стучат палками по воротам – вот-вот ворвутся. Неистово, непонятно кричат, нажиливая потные шеи, выпяливая сверкающие белки, обдавая чесночным духом:

– Курей убивай! Теперь суда нема... сами будим!..

В их криках я слышу ревы звериной жизни, древней пещерной жизни, которую знавали эти горы, которая опять вернулась. Они боятся. День ото дня страшнее – и теперь горсть пшеницы дороже человека.

Давно убрали греки пшеницу: тюками, в мешках уносили в город. Ушли – и пшеничная котловина закипела жизнью. Тысячи голубей – они хоронились от людей где-то – голубились теперь по ней, выискивали осыпавшиеся зерна; дети целыми днями ерзали по земле, выбирая утерянные колосья. И павлин, и индюшка с курочками кормились. Теперь их гоняли дети. Ни зернышка не осталось – и котловина затихла.

Пустыня

А что Тамарка?..

Она уже оглодала миндали, сжевала давшиеся через ограду ветки. Повисли они мочалками. Теперь их доканчивает солнцем.

Громяхают ворота. Это Тамарка рогами выдавливает калитку.

– Ку-ддааа?!.

Вижу я острый рог: просунула-таки в щель калитки, ломится в огород. Манит ее сочная зеленая кукуруза. Шире и шире щель, всовывается розовый шагренёв нос, фыркает влажно-жадно, слюну пускает...

– На-ззад!!.

Она убирает губы, отводит морду. Стоит неподвижно за калиткой. Куда же еще идти?! Везде – пусто.

Вот он, наш огородик... жалкий! А сколько неистового труда бросил я в этот сыпучий шифер! Тысячи камня выбрал, носил из балок мешками землю, ноги избил о камни, выцарапываясь по кручам...

А для чего все это? Это убивает мысли.

Выберешься на верх горы, сбросишь тяжкий мешок с землею, скрестишь руки... Море! Глядишь и глядишь через капли пота – глядишь сквозь слезы... Синяя даль какая! А вот за черными кипарисами – низенький, скромный, тихий – домик под красной крышей. Неужели я в нем живу? В саду – ни души, и кругом – пустынно: никто не проедет за день. Маленький, с голубка, павлин по пустырю ходит – долбит камень. Тишина какая! Весенними вечерами хорошо поет черный дрозд на сухой рябине. Горам попоет – повернется к морю. Споет и морю, и нам, и моим деревцам миндальным в цветах, и домику. Домик наш одинокий!.. Отсюда видно его изъяны. Заднюю стенку дожди размыли, камни торчат из глины – надо до осенних дождей поправить. Придут дожди... Об этом не надо думать. Надо разучиться думать! Надо долбить шифер мотыгой, таскать землю

мешками, рассыпать мысли. Бурей задрало железо – пришлось навалить по углам камни. Кровельщика бы надо... И кровельщика, пожалуй, не осталось. Нет, старый Кулеш остался: стучит колотушкой за горкой, в балке, – выкраивает соседу из старого железа печки. В степь повезут выменивать на пшеницу, на картошку... Хорошо иметь старое железо! Стоишь – смотришь, а ветерок с моря обдувает. Красота какая!

Далеко внизу – беленький городок с древней, от генуэзцев, башней. Черной пушкой уставилась она косо в небо. Выбежала в море игрушечная пристань – скамеечка на ножках, а возле – скорлупка-лодка. Сзади плечиной Чатырдаг синее, Палат-Гора... Там седловина перевала... выше еще – и смотрит вихром Демерджи. Орлы живут по ее ущельям. Дальше – светлые цепи голых, туманно-солнечных гор Судакских...

Хорош городок отсюда – в садах, в кипарисах, в виноградниках, в тополях высоких. Хорош обманчиво. Стеклышками смеется! Ласковы-кротки белые домики – житие мирное. А белоснежный Дом Божий крестом осеняет кроткую свою паству. Вот-вот услышишь вечернее «Свете тихий»...

Я знаю эту усмешку dalej. Подойди ближе – и увидишь... Это же солнце смеется, только солнце! Оно и в мертвых глазах смеется. Не благостная тишина эта: это мертвая тишина погоста. Под каждой кровлей одна и одна дума хлеба!

И не дом пастыря у церкви, а подвал тюремный... Не церковный сторож сидит у двери: сидит тупорылый парень с красной звездой на шапке, зыкает-сторожит подвалы:

– Эй!., отходи подале!..

И на штыке солнышко играет.

Далеко с высоты видно! За городком – кладбище. Сияет на нем вся прозрачная, из стекла, часовня. Какая роскошь... не разберешь, что в часовне: плавится на ее стеклах солнце...

Обманчиво-хороши сады, обманчивы виноградники! Зброшены, забыты сады. Опустошены виноградники. Обезлюжены дачи. Бежали и перебиты хозяева, в землю вбиты! – и новый хозяин, недоуменный, повыбил стекла, повырвал балки...

повыпил и повылил глубокие подвалы, в кровине поплавал, – а теперь, с праздничного похмелья, угрюмо сидит у моря, глядит на камни. Смотрят на него горы...

Я вижу тайную их улыбку – улыбку камня...

Сереет под Демерджи обвал – когда-то татарская деревня. Века глядела гора в человечье стойло. И показала свою улыбку – швырнула камнем. Да будет каменное молчание! Вот уж идет оно.

Что, Тамарка? И ты, бедняга, попала в петлю... А примириться не хочешь: упрямо стучишь копытом, бьешь головой в ворота! Похудела же ты, бедняга...

Она тупо глядит на мою поднятую руку стеклянными глазами, синими с неба и ветряного моря. Да куда же еще идти?! Ее бока провалились, выперло кости таза, а хребет заострился и изъеден кровопийцами мухами и слепнями. Сочится сукровица из ранок: там уже свербит червивое потомство, зреет в теплоте язвы. Вымя ее вытянулось и потемнело, подсохли-поморщились сосочки: ничего не вытянут из нее сегодня хозяйские руки.

– Ступай же... нету!..

Она не верит. Она же знает великую силу человека! Не может она понять, почему не кормит ее хозяин...

И я не могу понять, Тамарка... Понять не могу, кому и зачем понадобилось все обратить в пустыню, залить кровью! А помнишь, еще недавно каждый мог тебе дать кусок душистого хлеба с солью, каждый хотел потрепать твои теплые губы, каждый радовался на твое ведерное вымя. Кто же это выпил и твои соки? Каждую весну ты носила, а теперь ходишь пустая и не прибавила на рогах колечка!..

В ее стеклянных глазах я вижу слезы. Немые, коровьи слезы. Голодная слюна тянется-провисает к колючей ажине, которую она жевала. С усилием отрывает она глаза от кукурузы, поворачивает от калитки и... смотрит в море. Синее и пустое. Она его хорошо знает: синее и пустое. Вода и камни.

Смотрю и я... Сколько хочешь смотри – и так, и этак.

Прямо смотри: невидная Азия, Трапезунд. Там Кемаль-Паша воюет со всеми народами на свете; побил и греков, и англичан, и французов, и итальянцев – всех побил-потопил в славном турецком море.

Пошептывают прижухнувшиеся татары:

– Це-це-це... Кемал-Паша! Крым идет... пылымот стрелят, балшивик тикал! Хлэб будит, чурэк-чебурэк... баряшка будыт... Балшой чилавэк Кемал-Паша! Наш будыт...

Вправо – Босфор далекий, Стамбул Великий. Там горы хлеба и сахара, и брынзы, и аравийского кофе, и баранов...

Влево, в утренней дымке, – земля родная, кровью святой политая...

Ни дымочка в синей дали, серебруются течения... Одна голубая парча – на солнце.

Мертвое море здесь: не любят его веселые пароходы. Не возьмешь ни пшеницы, ни табаку, ни вина, ни шерсти... Съедено, выпито, выбито все. Иссакло.

А солнце пишет свои полотна!

Фиолетовый пляж розовым подержался, теперь бледнеет. Накалится – засветится. К ночи с холоду посинеет. А вот и она – синьбель: вскипает с играющего моря. Нет ни души на гальке, пятнышка нет живого. Прощай, расцветка!

Ни татарина меднорожего, с беременными корзинами на бедрах – груши, персики, виноград! Ни шумливого плута-армянина из Кутаиси, восточного человека, с кавказскими поясами и сукнами, с линючими чадрами кричащих красок – утехой женщин; ни итальяшек с «обомаршэ»[3 - Название французского магазина.]; ни пылящих ногами, запотевших фотографов, берущих «с веселым лицом» у камня, лихо накидывающих черный лоскут суконный, небрежно-важно разбрасывающих – «мерсис»! И уральские камни сгнули, и растаяли бублики за копейку, и раковинки с «Ялтой» – китайской тушью, и татары-проводники в

рейтузах синей «диагонали», с нафабранными усами, с бедрами Аполлона из Корбека, со стеклом за лаковым голенищем, с запахом чеснока и перца. Ни фаэтонов в пунцовом плисе, с белыми балдахинами, вздувающимися на бойком ходу, с красными язычками в бисерной мишуре-сверканье, с конями в шерстяных розанах, с крымскими глухарями из серебра – звоном бахчисарайским, – щеголевато-мягко несущихся мимо просыпающихся утренних вилл в глициниях и мимозах, в магнолиях и розах, и в винограде, с курящейся поливкой, с душистой прохладой утра, умело опрысканного садовником. Ни широких турок, мерно бьющих новые плантажи, крепкожильных, с синими курдюками, с полудня засыпающих на земле – у камня. Ни дамских зонтиков на песке, жарких цветов полудня; ни человеческой бронзы, которую жарит солнцем; ни татарского старичка, сухого, с шоколадной головкой в белой обвязке, мотающегося на коленях— к Мекке...

Не ты ли сожрало, море? Молчит, играет.

Кому продавать, покупать, кататься, крутить лениво золотистый табак ламбатский? Кому купаться?.. Все иссякло. В землю ушло – или туда, за море.

Смотрят в пустой песок выбитыми глазами дачи. Тянут бакланы в море, снуют-плавают их цепочки.

Одно увидишь на побережной дороге – ковыляет босая, замызганная баба с драной травяной сумкой – пустая бутылка да три картошки, – с напряженным лицом без мысли, одуревшая от невзгоды:

– А сказывали – все будет!..

Прошагает за осликом пожилой татарин, – гонит с вьючком дровишек, – угрюмый, рваный, в рыжей овчинной шапке; поцекает на слепую дачу, с вывернутой решеткой, на лошадиные кости у срубленного кипариса:

– Це-це-це... ах, шайтаны!..

И вспомнит: носил сюда петухов в сезоны, черешню, виноград, груши... было время! А теперь и соли купить не с чем.

А то пропылит на мухрастой запаленной лошадке полупьяный красноармеец, без родины – без причала, в ушастом шлыке суконном, в помятой звезде красной-тырцанальной, с ведерным бочонком у брюха – пьяную радость везет начальству из дальнего подвала, который еще не весь выпит.

Так вот какая она, пустыня!

Смеется солнце. Поигрывают тенями горы. Все равно перед ними: розовое ли живое тело или труп посинелый, с выпитыми глазами – вино ли, кровь ли... И этому верховому звездоносцу. Остановится перед разбитой виллой, глядит-пялит заспанными глазами... – чего такое?.. Приметит – стеклышко никак цело! Наведет-нацелит:

– А-а, едренать... Еще нацелит...

Но куда же пойдет Тамарка?

Она тянет-вытягивает мордочку и мычит протяжно – на море. В синее и пустое. Еще мычит, и еще... И уходит через дорогу в балку. Задумывается над сочным молочаем: не съесть ли?.. Фыркает и отходит: чует коровьим нюхом эти острые молочаи-боли – от них вымя сочится кровью.

Ну, что же сегодня делать? Что и вчера – все то же: нарвать виноградных листьев помоложе, мелко-мелко порезать – и суп будет. Хорошо чесноку добавить – дает, говорят, бодрость; но чеснок весь вышел. Потом... опять листу надо – обманывать единственное живое, что нам осталось, – птиц наших. Они связывают нас с прошлым. Их надо поскорей выпустить, кузнечика хоть поймают. Они доживут до осени, а дальше... Не стоит думать. Кружились бы только с нами! Они отзываются на ласку, задремывают на коленях, затягивая пленочками зрачки. Они шумно слетаются из балок, слышав обманное звяканье жестяной кружки, – не зерно ли?! – разговаривают даже с нами. Я хорошо понимаю Робинзона.

Итак, начинаем день.

В виноградной балке

Виноградная балка... Овраг? Яма? Нет: это отныне мой храм, кабинет и подвал запасов. Сюда прихожу я думать. Отсюда черпаю хлеб насущный. Здесь у меня цветы – золотисто-малиновый куст львиного зева, в пчелах. Только. Огромное окно – море. И – виноград зреет.

Отныне мой храм?.. Неправда. У меня нет теперь храма.

Бога у меня нет: синее небо пусто. Но шиферно-глинистые стены – мои хранители: они укрывают от пустыни. «Натюрморты» на них живут – яблоки, виноград, груши...

Я спускаюсь по сыпучему шиферу, оглядываю свои запасы. Плохо на яблоньках: поела цветы «мохнатая оленка». Тысячи их налетали, когда яблони стояли в цвету, падали в белые чашечки, сосали-грызли золотые тычинки. Я выбирал их, спящих – они задремывали к полудню. Вот одичавший персик, с каменной мелочью, черешня, в усохших косточках, оклеванная дроздами. Айва бесплодная, в паутинных коконах, заросли розы и ажины.

Грецкий орех, красавец... Он входит в силу. Впервые зачавший, он подарил нам в прошлом году три орешка – поровну всем... Спасибо за ласку, милый. Нас теперь только двое... а ты сегодня щедрее, принес семнадцать. Я сяду под твоей тенью, стану думать...

Жив ли ты, молодой красавец? Так же ли ты стоишь в пустом винограднике, радуешь по весне зеленью сочных листьев, прозрачной тенью? Нет и тебя на свете? Убили, как все живое...

Хорошо сидеть в утренней тишине Виноградной балки, ото всего закрыться. Только – лозы... рядками тянутся вверх, по балке, на волю, где старые миндальные деревья, – прыгают там голубые сойки. Какое покойное корыто! Откосы, один – тенистый, солнцем еще не взятый; другой – золотой, горячий. На нем груши-молодки в бусах.

Взглянешь назад – синее окно, море! Круто падает балка, и в темном ее прорыве – синяя чаша моря: пей глазами!

Хорошо так сидеть, не думать...

Пустынным криком кричит павлин:

– Э-оу-а-аааа...

Нельзя не думать: настужь раскрыты двери, кричит пустыня. Утробным ревом ревет корова, винтовка стучит в горах – кого-то ищет. Над головой детский голосок тянет:

– Хле-а-ба-аааа... са-мый-са-ааа с пугович-ку-ууу... са-а-мый-са-ааа....

Гремит самоварная труба. Это пониже нашего домика, соседи.

– Ах, Воводичка... какой ты... Я же тебе сказала...

Голос усталый, слабый. Это старая барыня, попавшая вместе с другими в петлю. При ней чужие, «нянькины дети»: Ляля и Вова. Живут на тычке – бьются.

– Са-а-мый-с-а-аааа...

– Я же тебе сказала... Сейчас лепестков заварим, розовый чай пить будем...

– Хочу са-а-ла-аааа...

– Ну, что ты из меня душу тянешь!.. Ляля, да уведи ты его от меня, с глаз моих!..

Я слышу дробное топотанье и задохшийся, тонкий голосок Ляли:

– А-а... сала тебе?! Сала? Я тебе такого сала!.. Ухи тебе насалить?

– Ля-ля, оставь его... И потом, нельзя говорить... у-хи! У-ши! И как ты выражаешься: насалить! На что это похоже! А я-то еще хотела с тобой по-французски заниматься...

По-французски! У смерти... – и по-французски. Нет, права она, старая, милая барыня: надо и по-французски, и географию, и каждый день умыться, чистить дверные ручки и выбивать коврик. Уцепиться и не даваться. Ну, какие самые большие реки? Нил, Амазонка... Еще текут где-то? А города?.. Лондон, Нью-Йорк, Париж... А теперь в Париже...

Странно... когда я сижу так, ранним утром, в балке и слышу, как гремит самоварная труба, я вспоминаю о Париже, в котором никогда не был. В этой балке – и о Париже! Это на каком-то другом свете... И есть ли этот Париж? Не исчез ли и он из жизни?..

Вот почему я вспоминаю о Париже: моя соседка рассказывала, бывало, как она жила за границей, училась в Берлине и в Париже... Так далеко отсюда! Она... в Париже! Она бродит в вязаном платочке, унылая и больная, щупает себя за голову, жует крупку... Видала Париж, в Булонском лесу каталась, стояла перед Венерой и Нотр-Дам!.. Да почему она здесь, на тычке, у балки?! Бьется с чужими детьми, продает последние ложечки и юбки, выменивает на затхлый ячмень и соль. Боится, что отнимут у нее какой-то коврик... Каждую ночь дрожит – вот придут и отнимут коврик, и этот платок последний, и полфунта соли. Чушь какая!

Париж?! Какой-то Булонский лес, где совершают предобеденные прогулки в экипажах, – у Мопассана было... – и высится гордым стальным торчком прозрачная башня Эйфеля?! гремит и сейчас: в огнях?! И люди весело и свободно ходят по улицам?! Париж... – а здесь отнимают соль, повертывают к стенкам, ловят кошек на западни, гноят и расстреливают в подвалах, колючей проволокой окружили дома и создали «человечьи бойни»! На каком это свете деется? Париж... – а здесь звери в железе ходят, здесь люди пожирают детей своих, и животные постигают ужас!..

На каком это свете деется? На белом свете?!!

Нет никакого Парижа-Лондона, пропал и Париж, и все. Вот работа кинематографам, лента на миллионы метров! Великие города – великих! Стойте ли вы еще? Смотрите наши ленты? Кровяных наших лент на сотни великих городов хватит, на миллионы зевак бульварных, зевак салонных – в смокингах и визитках, в пиджаках и рабочих блузах... и в соболях с чужого плеча, и в бриллиантах, вырванных из ушей! Смотри, Европа! Везут товары на кораблях, товары из стран нездешних: чаши из черепов человеческих – пирам веселье,

человечьи кости – игрокам на счастье, портфели из «русской» кожи – работы северных мастеров, «русский» волос – на покойные кресла для депутатов, дароносицы и кресты – на портсигары, раки святых угодников – на звонкую монету. Скупай, Европа! Шумит пьяная ярмарка человеческой крови... чужой крови.

Цела Европа? Не видно из Виноградной балки. Как там – с... «правами человека»? В Великих Книгах – все ли страницы целы?..

О Париж!.. Отсюда, из глухой балки, нездешним грезится мне этот далекий Париж, призрачный город сказки. Нездешним, как мои сны – нездешние. Там не смеется камень: покорно положен в ленты. Голубые огни на нем, и люди его – нездешние. Победно гремят оркестры на золотых трубах, а прозрачное чудо стали засматривает на край земли, ловит все голоса земные... Слышит ли этот голос пустых полей, шорох кровавых подземелий?.. Это же вздохи тех, что и тебя когда-то спасали, прозрачная башня Эйфеля! Старуха седая занесла на свои скрижали.

Не слышит. Гремят золотые трубы...

– Хле-э-ба-аааа...

А где-нибудь громадные булочные открыты, за окнами, на полках, лежат свободные караваи, лежат до вечера... Да есть ли?!

– Сил моих нету, Го-споди... Ляля, да возьми от меня Воводю! Няня сейчас придет... Ну, дай ему грушку погрызть, что ли... И когда только эта мука кончится!..

Кончится! Она только еще подходит. Вон – Безрукий, слесарь из Сухой балки, вчера съел рыженькую собачку Минца... А на той неделе я видел, как его жена еще пекла из муки лепешки. У нас еще есть миндаля немного... А у ней, кажется, есть коврик и какое-то необыкновенное ожерелье... хрустальное ожерелье – из Парижа! Не знает, какая бывает мука! И как она может кончиться?! Это – солнце обманывает, блеском, – еще заглядывает в душу. Поет солнце, что еще много будет праздничных дней чудесных, что вот и виноградный, «бархатный» сезон подходит, понесут веселый виноград в корзинах, зацветут виноградники цветами, осенними огнями... Всегда будет празднично-голубое море, с

серебряными путями.

Умеет смеяться солнце!

А вот скоро ветры сорвутся с Чатырдага, налягут на Палат-Гору снеговые тучи, от черного Бабугана натянут ливни – тогда...

А теперь... – яхонты вон горят на лозах, теплые, в нежном мате... золотится «чауш», розовая «шасла», «мускат» душистый... как смородина черная – «мускат» черный, александрийский... На целую неделю сладкого хлеба хватит! цветного хлеба!..

Я иду по рядам, выбираю на суп листочки, осматриваю грозди. Ночью собаки были – погрызли и разбросали. Голодные собаки? Вряд ли: собаки все ночи пируют в балке, где пала лошадь. Я слышал, как они там рычали. Конечно, это курочки и павлин – день за днем добивают мои запасы.

Пусть винограда мало, но как чудесно! Ведь это мой труд, последний. Весной я окопал каждую лозу, выломал жировые плети, вбил колья в шифер и подвязал побеги. Тогда... – как это давно было! – у этого кривого кола я сидел, смотрел на синюю чашу моря, глядевшего в прорыве. Пылала синим огнем чаша. Великий ее создал: пей глазами!

И я ее пил... сквозь слезы.

Хлеб насущный

Я поднимаюсь из балки с ворохом виноградных листьев.

Хлеб насущный!

– С добрым утром!

А, голосок знакомый! Стоит босоногая Ляля за кипарисом – восьмилетка, косит глазом. На ней – единственная ее – белая кофточка и красная юбка, с весны самой. Прозрачная она, хрупкая, беленькая, хоть и всегда на солнце. Светлые глазки ее стреляют – русские глазки, умные. К Бабугану стрельнули – и поймали:

– Глядите, автомобиль на Ялту! Вчера целых три прокатило! Это зеленых ловят...

– Все-то знаешь! А кто такие эти – зеленые?

– А которые не сдаются... в лесах по горам хоронятся... я знаю.

Крутится по лесным холмам облачко, бежит дальше. Доносит трескуче-дробно: катит автомобиль невидный.

Перескочили на виноградник:

– Глядите-ка, опять в винограднике Павка был! Перышко потерял... А у вас сегодня Тамарка миндаль сжевала!..

– Значит, миндальное молоко будет. Смеется Ляля слабым смешком, не как раньше. А глаза не смеются – выискивают дали. И глаза светло-синие, как дали.

– У Минца... корову вчера угнали... – говорит Ляля робко.

– Слыхал. А Безрукий рыженькую собачку съел?

– Какая к вам-то все прибежала, хвостик букетиком. Поляк... что ему! Они все есть могут. Он и кошку у него заманил! Ей-богу! – спешит сообщить Ляля. – У него клетка есть, с такой гирькой... на ночь привесит конятинки – хлоп! Слесарь... Мне, говорит, теперь наплевать на голод, кошками промудрую. А что, вкусные кошки?

– Ничего будто. А ты как... ела сегодня?

– Ели... – нетвердо говорит Ляля и смотрит в балку.

– Та-ак... Значит, ели... Верно?

– Вот придет няня... – краснеет она, катает ногой кипарисовую шишку. – Давайте я понесу... Листу-то ско-олька-а!

Она ни за что не скажет, что не ели, что понесла няня продавать коврик.

– А Рыбачиха-то не сдюжила, продали корову-то, Маньку! У них очень семейство большое, ребят что опят...

Она говорит как взрослая – всегда серьезна. Пытливая у нее голова: все знает, что делается в округе, в городке, у моря.

– Еще что скажешь?

Она смущенно стоит у порога кухни, трет одну ногу о другую, следит, как кромсаю лист.

– Индюшка-то ваша вчера у доктора на тычке была, чашку в кухне расколотила!.. – косит Ляля на меня глазом, – не поговорю ли с ней об индюшке, – но я молчу. Поинтересней надо? – А у Вербы-то какое горе!

– А что такое?

Она вспыхивает, поблескивает глазами: она довольна. Складывает на груди руки, как ее мать-няня, и начинает сокрушенно:

– А как же... этой ночью у них гуся украли!

– Да ну-у?

– Украли, как же... и голоску не подал. Да гляньте воньте... только один гусь гуляет!..

От кухни всю Вербину горку видно. Верно: один только гусь гуляет. За ним павлин ходит, землю долбит.

– Ох, некому больше, как дяде Андрею... – шепотком говорит она и глядит через балку: за пустырем павлиньим – не видная за горбом Тихая Пристань. – Уж такой-то вредный мужик! Некому, как ему. Слышим ночью – уж так-то жареным гусем пахнет, не продыхнуть. А это к нам ветерком наносит, от них ведь ветер-то по ночам, от Бабугана... Так-то шкварочками... да сальцем... ужас!

Я слышу, как во рту у Ляли полно слюны, как она делает горлом. Надо ее отвлечь:

– А что такое случилось... учительница вчера Вербененка отчитывала? Не слыхала?

– Да как же! – оживляется Ляля и опять подбирает руки. – Идет Прибытка, учительница... из городу шла. Идет Амидовым виноградником, а уж к ночи было. А она плохо видит, в пинснях... Собаки, – сперва думала... А как пила хрипит! Подошла поближе, глядит... а это Вербенята – озорники хо-о-о-ро-шую грушу пилят! Садову грушу. «Бэру»... вот такие на ней груши! Ну, а теперь никакого порядка, все плетни разворочены, хоть скрозь гуляй... «Вы что тут делаете?! Разве можно пилить садовое дерево?!» – как заругалась! Они – ти-кать! Ведь не можно садовое дерево? Сколько уходу было... А страху нет. Уж она их начитывала!..

– Вот что, газетка... Вот тебе маленькая лепешка... поделишься с Володей.

Она вся вспыхивает и пятится, а глаза не могут оторваться от лепешки. Она даже отмахивается в испуге:

– Ай, что вы... да не надо, что вы... Ну, зачем же... не надо. У нас же есть же...

Ее надо поймать за плечо и дать насильно.

– Ну, зачем это... у самих мало... Ну, спа-сибочко вам... Ба-лшое спасибо! ба-а-ль-шое... – смущенно захлебывается Ляля, разглядывая лепешку, и все пятится, пятится в кипарис.

Сначала она отходит тихо, сдерживает себя – и вдруг помчится-помчится! Мелькнет за кипарисами красная юбочка, голые ноги, отшлифованные загаром,

блеснут у обрыва в балку – и слышится придушенный голос: «Володя! Володичка!» Я знаю, что сейчас появится на моей границе, за колючей оградой, пятилетний белоголовый Володя – благодарить. Вежливости их учит старая барыня, жившая в Париже... Вот уж и появляется он под своими дубками, за моим садом, в белой, пестро заплатанной рубашке, в штанишках – наполовину коричневых, из барыниной кофты, наполовину своих, белых, – кричит звонко-звонко:

– Ба-а-ль-шо-е!.. спа-сибочко... ба-аль-шо-е!

Есть еще детские голоса, есть ласка. Теперь люди говорят срыву, нетвердо глядят в глаза. Начинают рычать иные.

Я выпускаю кур, индюшку с курочками. Отныне и до... – пусть до завтра! – это наше родное, кому открываешь душу. Свидетели нашего умирания. Все поверяешь им, и они так умеют слушать!

Проволочным крючком, через отдушину наверху, вылавливаю я кол, подпирающий изнутри дверку, – хитрый запор голодного времени! – и с гулом сыплется на меня онемевшая за ночь птица.

Живы, мои родные! С новым утром!

Они кипят под ногами, не давая ступить, заглядывают в лицо и в руки. Зерна! Зерна!

Они бегают за мной стайкой, вывертывают шейки, не чуя, что под ногами, спотыкаются на бегу, подпрыгивают, как собачки, мечутся в беспокойстве: поставят ли перед ними чашки? Носится поджарая, подтянутая индюшка – бутылочка на ножках:

– ...Пуль-фье... пуль-фье...

Эх вы, горевая птица! Ты, беленькая Торпедка, совсем ослабла: стоишь, пленкой затягиваешь глазки... И ты, Жемчужка, невеселая. А ты, Жаднюха, упомянула оставленную вчера кефалью головку, которую принесла из балки, всеми исклеванную, и так же упрямо долбишь. Поди ко мне на руки, маленькая,

пошепчи на ухо... А, ты засматриваешь в кармашек, где, помнишь, когда-то лежали зерна... Там когда-то и часы лежали... Вот, есть у меня для тебя немного... Ну? Раз, два... десять... двенадцать зерен! Чего же долбишь в пустую руку? Ну, что же мне вам сказать? Какую новость? Вот. Дошло и до вас дело. За горкой внизу живут «дяди», которые любят кушать... и курочек любят кушать! Как бы не пришли за вами, отбирать «излишки»! Пять курочек еще можно, а у меня вас больше. Вот, пожалуй, и отберут у меня «излишки»... Ну, не будем думать.

Я даю им пареный лист в чашках. Они дерутся из-за него, вытаскивают мохрами, прячут, давятся, набивают зобы. Стоят и долбят в пустые чашки. А ястреба уже стерегут по балкам.

Смотрю я, думаю, вспоминаю... хочу осмыслить... Сон кошмарный? В плен к дикарям попался?.. Они все могут! Не могу осмыслить. Я ничего не могу, а они все могут! Все у меня взять могут, посадить в подвал могут, убить могут! Уже убили! Не могу осмыслить. Или я одичал, разучился думать? разучился мыслить?! А для чего теперь нужно мыслить! Мыслить, и вот – на одной чашке с ними...

Я слышу сигнал, неистовый голос Ляли, – только она так может:

– Ай-йу-а-ай!.. – дикий, пустынный крик, похожий на крик павлина.

А, налетает ястреб! К осени ястреба лютуют.

Ее крик слышен на версты – и на море, и по дальним балкам. Ястреба ее хорошо знают, красную ее юбку, приметную издалека, ее острые глазки, стреляющие по горам и в небо, – боятся и ненавидят. Подстерегают ее в дубовых чащах, впиваются хищными зрачками: так бы и разорвали! Ее понимают куры, все птицы... Сама она похожа на белую голубку. Закричит тревожно – и всюду по горкам поднимаются крики и хлоп ладошей: вопят на своей горке Вербенята, визжит Рыбачихино семейство, на пшеничной котловине, на Тихой Пристани, у Прибытков, далеко внизу, по холмам, на умирающих дачках, у кого только доживают куры, последнее живое. Столько над ними дрожали, укрывали, когда ходили отбирать «излишки» – портянки, яйца, кастрюльки, полотенца... Укрыли. А теперь ястребов боятся, стервятников крылатых.

Низко плывет по балке стервятник, завинчивает полетом. Палевым отливает на его крыльях солнце. Сбил его с ходу неистовый крик Лялин. Летит на дубки, за балку, притаивается в чаще.

Теперь я хорошо знаю, как трепещут куры, как забиваются под шиповник, под стенки, затискиваются в кипарисы, – стоят в дрожи, вытягивая и вбирая шейки, вздрагивая испуганными зрачками.

Хорошо знаю, как люди людей боятся, – людей ли? – как тычутся головами в щели, как онемело роют себе могилы.

Ястребам простится: это их хлеб насущный.

Едим лист и дрожим перед ястребами! Крылатых стервятников пугает голосок Ляли, а тех, что убивать ходят, не испугают и глаза ребенка.

Что убивать ходят

Кто-то верховой едет... кто такой?..

Подымается из-за бугра к нам, на горку... А, мелкозубый этот!.. Музыкант Шура. Как он себя именует – «Шура Сокол». Какая фамилия-то лихая! А я знаю, что мелкий стервятник это.

Кто сотворил стервятника? В который день, Господи, сотворил Ты стервятника, если Ты сотворил его? Дал ему образ подобия Твоего... И почему он Сокол, когда и не Шура даже?! Покорный конек возит его по горкам – хрипит, а возит. Низко опустил голову, челка к глазам налипла, взмокшие бока ходят: трудно возить по горкам. Покорен конек российский: повезет и стервятника – под гору повезет и в гору, хоть на Чатырдаг самый, хоть на вихор Демерджи, пока не сдохнет.

Я отворачиваюсь, за кипарис кроюсь. Или стыдно мне моих лохмотьев? Моей работы?

Как-то, тоже в горячий полдень, нес я мешок с землею. И вот, когда я плелся по камню и голова моя была камнем – счастье! – вырос, как из земли, на коньке стервятник и показал свои мелкие, как у змеи, зубы – беленькие, в черненькой головке. Крикнул весело, потряхивая локтями:

– Бог труды любит!

Порой и стервятники говорят о Боге!

Вот почему я кроюсь: я слышу, как от стервятника пахнет кровью.

Он одет чисто, в хорошей куртке, а кругом все в лохмотьях. Он порозовел, округлился, налился даже, а все тощат, у всех глаза провалились и почернели лица. Один он на коньке ездит, когда все ползают на карачках. Такой храбрый!

Я давно его знаю, три года. Он проживал на самой высокой даче, которую называли «Чайка». Поигрывал на рояле. Живут мирные дачники – живут тихо. Спускаются по балкам к морю – купаться. Любуются на горы – как чудесно! Раскланиваются с округой: «Добрый вечер!» И, конечно, исправно платят. Звонкая была «Чайка», молодая дача. И молодые женщины на ней жили – врачи, артистки, – кому необходим летний отдых.

И вот подошло время. Пришли и в городок люди, что убивать ходят. Убивали-пили. Плясали и пели для них артистки. Скучно!

– Подать женщин веселых, поигристей! Подали себя женщины: врачи, артистки.

– Подать... кро-ви!

Подали и крови. Сколько угодно крови!

И вот, когда все, как трава, прибито, раскатывает Шура Сокол на лошадке. Недаром он поигрывал на рояле, поглядывал с самой высокой дачи – стервятники приглядывают с верхушек! – многие уже... «высланы на север... в Харьков...» – на том свете. А Шура кушает молочную кашку, вечерами и теперь поигрывает на рояле, перебрался в дачу поудобней и принимает женщин. Расплачивается мукой... солью... Что значит-то быть хорошим музыкантом!

Что же теперь... за топливом, по балкам?.. Хорошо забраться в глубокую-глубокую балку, стены чтобы отвесные... хорошо, никого-ничего не видно. Но надо и сторожить, чтобы не кинулись куры в виноградник. Сесть на откосе виноградной балки... сидеть и думать... О чем думать? А где у меня кресло? В моей балке можно думать только о... Ни о чем нельзя думать, не надо думать! Завтра будет все то же. И дальше – то же. Сиди и смотри на солнце. Жадно смотри на солнце, пока глаза не стали оловянной ложкой. Смотри на живое солнце! А то скоро – ветры задуют, дожди зарядят, загремят штормы... Черти начнут бить в стены, трясти наш домик, плясать по крыше. Тогда у огонька сидеть будем... Живут дикари, и ничего, счастливы! Ничего-то не знают, ничему не учены. Счастливые: нечего им лишаться! Читать книги? Вычитаны все книги, впустую вышли. Они говорят о той, о той жизни... которая уже вбита в землю. А новой нету... И не будет. Вернулась давняя жизнь, пещерных предков.

Книги... О них я думаю часто. Войдешь в домик – вон они, в темном углу лежат сиротливой стопкой. Мои «путевые» книги... Смотреть больно. И они уже «высланы» куда-то. И к ним протянулась кровавая лапа.

Когда это было? Вот уже год скоро. День был тогда холодный. Лили дожди – зимние дожди с дремуче-черного Бабугана. Покинутые кони по холмам стояли, качались. Белеют теперь их кости. Да, дожди... и в этих дождях приехали туда, в городок, эти, что убивать ходят... Везде: за горами, под горами, у моря – много было работы. Уставали. Нужно было устроить бойни, заносить цифры для баланса, подводить итоги. Нужно было шикнуть, доказать ретивость пославшим; показать, как «железная метла» метет чисто, работает без отказа. Убить надо было очень много. Больше ста двадцати тысяч. И убить на бойнях.

Не знаю, сколько убивают на чикагских бойнях. Тут дело было проще: убивали и зарывали. А то и совсем просто: заваливали овраги. А то и совсем просто-просто: выкидывали в море. По воле людей, которые открыли тайну: сделать человечество счастливым. Для этого надо начинать – с человеческих боен.

И вот – убивали, ночью. Днем... спали. Они спали, а другие, в подвалах, ждали... Целые армии в подвалах ждали. Юных, зрелых и старых – с горячей кровью. Недавно бились они открыто. Родину защищали. Родину и Европу защищали на полях прусских и австрийских, в степях российских. Теперь, замученные, попали они в подвалы. Их засадили крепко, морили, чтобы отнять силы. Из подвалов их брали и убивали.

Ну, вот. В зимнее дождливое утро, когда солнце завалили тучи, в подвалах Крыма свалены были десятки тысяч человеческих жизней и дожидались своего убийства. А над ними пили и спали те, что убивать ходят. А на столах пачки листов лежали, на которых к ночи ставили красную букву... одну роковую букву. С этой буквы пишутся два дорогих слова: Родина и Россия. «Расход» и «Расстрел» – тоже начинаются с этой буквы. Ни Родины, ни России не знали те, что убивать ходят. Теперь ясно.

В это утро ко мне постучали рано. Не те ли, что убивать ходят? Нет, пришел человек мирный, хромой архитектор. Он сам боялся. А потому услуживал тем, что убивать ходят...

Вот теперь сижу я на краю Виноградной балки, вглядываюсь в солнечные горы... Те ли самые эти горы, какие были совсем недавно? На этом ли они свете?!

И вот я вспоминаю...

– Вот, пришлось и к вам... – смущенно говорит архитектор и не смотрит. – Ужасная погода... высоко живете... Приказали описывать и отбирать книги... Соберут и пошлют куда-то... Конечно, я понимаю...

Он потеет, несчастный архитектор. Он работает из-за полфунта соломенного хлеба, из-за страха.

– Под страхом предания... военного трибунала! «Вплоть до расстрела»!!!

Он смотрит округлившимися, птичьими глазами, – а в них ужас.

– Знаю. И швейные машинки, и велосипеды... Но у меня здесь нет библиотеки! У меня только Евангелие и две-три мои книги!..

– Я уж и не знаю... нужно!..

Архитектор, человек искусства... Он не прошел мимо. Он ревностно ковылял под дождем, по грязи, на горы, через балки, на хромой ноге, чтобы добить душу. Но ему хочется жить бедняге, и... он доведен до точки!

– Я уж и не знаю... Ну, хоть расписку дайте... вопрос неясный... Напишите, что отвечаете за их сохранность...

– За мои книги?! Я... за свою работу?! Мы – сумасшедшие?! Он не мог уйти без расписки. Он умолял словами, глазами, которым было трудно смотреть в глаза, хромой ногою. И я выдал ему расписку.

Мне больно теперь смотреть в полутемный угол, где стопочка книг «учтенных». И ты, маленькое Евангелие! Мне больно, словно и Его я предал.

Дожди тогда были... Укрылись дождями горы, свинцовой мутью. Лошади по холмам стояли – покинутые кони. Стояли – ждали. И падали. А по одиноким дачкам ходил и ходил хромой архитектор и отбирал книги... А люди совались головами в щели. Фу, сон кошмарный!..

Не надо думать. Какое жгучее солнце!

Выше подымается, напекает. По горам жаровая дымка, начинают синеть и мерцать горы. Двигутся, оживают. Смотрят. И солнце плавится и играет в море.

Мои огурцы совсем пожухли и покрутились, рыжие гряды совсем разделись. Помидоры помертвели и обвисли. Курочки ушли в балки. Павлин стоит в тени, у своей дачки, – кричать жарко. Из балки выбирается Тамарка, несет на горку пустое вымя.

А ты что же, маленькая Торпедка, не пошла со всеми?

Стоит под кипарисом, поклевывает головкой, затягивает глазки. Я понимаю: она уходит. Я беру ее на руки. Как пушинка! Что же... так лучше. Ну, посмотри на солнце... ты его любила, хоть и не знала, что это. А там вон – горы, синие какие стали! Ты и их не знала, а привыкла. А это, синее такое, большое? Это – море. Ты, маленькая, не знаешь. Ну, покажи свои глазки... Солнце! И в них солнце!.., только совсем другое – холодное и пустое. Это – солнце смерти. Как оловянная пленка – твои глаза, и солнце в них оловянное, пустое солнце. Не виновато оно, и ты, Торпедка моя, не виновата. Головку клонишь... Счастливая ты, Торпедка, – на добрых руках уходишь! Я пошепчу тебе, скажу тебе тихо-тихо: солнце мое живое, прощай! А сколько теперь больших, которые знали солнце и кто уходит во тьме!.. Ни шепота, ни ласки родной руки... Счастливая ты, Торпедка!..

Она тихо уснула в моих руках, маленькая незнайка.

Полдень высокий был. Я взял лопату. Ушел на предел участка, на тихий угол, где груды камней горячих, выкопал ямку, положил бережно, с тихим словом – прощай, и быстро засыпал ямку.

Вы, сидящие в креслах мягких, может быть, улыбнетесь. Какая сентиментальность! Меня это нимало не огорчает. Курите свои сигары, швыряйте свои слова, гремучую воду жизни. Стекут они, как отброс, в клоаку. Я знаю, как ревниво глядитесь вы в трескучие рамки листов газетных, как жадно слушаете бумагу! Вижу в ваших глазах оловянное солнце, солнце мертвых. Никогда не вспыхнет оно, живое, как вспыхивало даже в моей Торпедке, совсем незнайке! Одно вам брошу: убили вы и мою Торпедку! Не поймете. Курите свои сигары.

Нянины сказки

Когда же, наконец, солнце потонет за Бабуганом?! Скорей бы... Упадет ночь, звезды стрелками будут плавать в море. Только оно и будет. Ни дач, ни холмов, ни балок – темный порог за моим садом, а за порогом – темное море в стрелках. Поверить можно, что где-то, на океане, как Робинзоны. Только бы забыться – и поверишь. Никто не придет, не будет давить душу. Кончились люди, только кроткие курочки, павлин – райская птица. Серенькие «волчки», пичуги, будут деловито порхать, прятаться в кипарисах, по утрам будут стрекотать сойки...

Как ни старайся – не отмахнешься. Вон за изгородью шаги, опять кто-то... Плохо начался день сегодня.

– Добрый день, барин!

Насмешка теперь это слово – барин! У нее не насмешка, а привычка. Это плетется из городка соседка-няня, идет – мотается. Одета оборванкой, на ногах дощечки. В руках охапка чубука[4 - Виноградный черенок.] и палок, которые она набрала дорогой, – все годится. Лицо испитое, желтое; глаза ввалились. С такими лицами выходят из больницы, после тяжелой болезни.

Я знаю, что она станет жаловаться, облегчать душу, и я не могу не слушать: ведь она – от народа, и ее слово – от народа.

– Что же это теперь будет?.. Хлеб-то сегодня... двенадцать тысяч! Да и его-то нету! На базаре ни к чему не приступишься, чисто все облютели!..

Она пытается меня округлившимися от тревоги глазами, но... что тут скажешь?

– Иду-гляжу... сидит у Ялы народ, у пустых возов... убиваются – плачут! Чего такое?.. Вон что! На перевале остановили-обобрали... все-то все отняли, кто чего в степи выменял на последнее! Открытый разбой пошел... И на степи-то, сказывают, голод! Куда ж это все подевалось-то? Да степь-то наша валом завалена была, на годы прямо! Титьти какие дела пошли... а! Что уж рыбаки наши... вольный прямо народ... а и те заслабли! А какая теперь рыба!

Камсы-то ждать... на весну ей ловиться, эн когда!..

Шура Сокол объехал горку, нагляделся на горы-море, вынул серебряный портсигар, закурил папироску – душистый табак ламбатский. Шажком прогуливает. Нянька поджала тонкие губы – выжидает, когда проедет, так и прощупывает глазами.

– Налился-то как... через хлещет! По три кружки одного молока ду-ет! Вот ты и погляди-и... И курочки, и яички, и... И откудова что берется! А ты хоть тут подохни!.. Копеечки негде заработать. А бывало-то, бархатный-то сезон... Стиркой, бывало, да больше двух рублей заработаешь! А на базар-то придешь... го-ры! И сала тебе, и барашка, и яички... и красненькие-то, и синенькие, и... А хлеб-то какой был, пуух пухом!..

Скучно слушать, а она ищет у меня утешения, какого-то «слова верного». Нет у меня никакого слова. Я хочу оборвать последнее, что меня вяжет с жизнью, – слова людские.

– Ходила в этих вот... в советских садах работать... – полфунта хлеба! да какого! – одна мякина. Еще вина полбутылки. А денег нет, не отпечатали! Как, говорит, отпечатаем, тогда... А гово-ри-ли-то-о!.. Озолотим на всю поколению! Вот и колей, поколение-то оно какое! А мне чего с детьми полфунта? А по садам

кто работает, с полбутылки валются... голодные! Ребятишкам вино дают, мальчишки пьянеошеньки... Всем, значит, помирать скоро?..

И я говорю ей «слово»:

– Что ж, и помирать придется. Она даже бросает хворост.

– Да ведь обидно! Ни во что ведь вышло-то все! Насулили-намурили – берись теперь! Я про себя не говорю – детей жалко. Старшие у меня на ноги хоть стали, а эти!.. Барыня уже все распроменяла, вот-вот сама-то завалится... А что я вам скажу... – шепотком говорит нянька и все оглядывается, – комиссара вчерась убили, на перевале! Леня вчера в Ялтах был, слышал. Продовольственный комиссар наш на машине ехал... хотел с деньгами на родину тикать. Сичас из лесу выходят с ружьями... отчаянные, не боятся! Ну, конечно, зеленые. Рангелевцы, не признают которые... Стой! Ершов фамилия? Все им известно! Долой слазь!

Жену с детьми не тронули, отойти велели. А того сейчас цепями к машине прикрутили, горючкой полили и зажгли. Сгорел! Мы, говорят, за народное право; у нас, говорят, до всего досмотр!.. А?!

Она пытается меня жадными глазами, все «верного слова» ждет. Нет у меня для нее слов.

– А сейчас иду по бугорочку, у приставы дачи, лошадь-то зимой пала... гляжу – мальчишки... Чего такое с костями делают? Гляжу... лежат на брюхе, копыто гложут! грызут-урчат. Жуть взяла... чисто собачонки. Вот подкатило-подкатило – сблевала, простите сказать... да не емши-то... Ну, вот... за коврик бархатный три фунтика всего дали ячменьку... а завтра-то чего будем?.. Уж скорей бы!

Она машет рукой, забирает палки и уходит – качается, вот-вот споткнется. Не чувствует она, что скоро у нее случится, как будет варить кашу из пшеницы... с кровью! Или чувствует? Я теперь вспоминаю... В ее глазах был тогда неподдельный ужас... Часто говорила она о своем Лене – собирался на степь поехать, за что-то добыть пшеницы...

А еще совсем недавно она ждала, что всем раздадут и дачи, и виноградники, всем, как она, «трудоющим», и будут они жить, как господа жили. Наше будет!

Слыхала она «верное слово», как орал матрос на митинге: «Теперь, товарищи и трудящие, всех буржуев прикончили мы... которые убегши – в море потопили! И теперь наша советская власть, которая коммунизм называется! Так что до-или! И у всех будут даже автомобили, и все будем жить... в ваннах! Так что не жись, а едрена мать. Так что... все будем сидеть на пятом этаже и розы нюхать!..»

Ну, вот. Ступай и бери: виноградники, и сады, и дачи, все – бесхозное, все – пустое!

– А ведь забыла! – окликает нянька. – Иван Михалыч вам кланяться наказали, зайти хотели! На базаре попался. Вот уж страсти! Не узнала и не узнала... – рванный, грязный, на ногах тряпки наверхены, еле идет с палкой. Гляжу – старичок какой-то нищий стоит у ларя, у грека, кланяется – просит... а грек и говорит: «Господин професхор, пожалуйста вам!» В корзиночку ему три грецких орешка положил и картошек пару. Матушки! Иван Михалыч! А дача-то какая у них была! Я ведь на них стирывала, бывало. Книг полна комната, и все-то пишут! А теперь с голоду умирают, ста-аренькие стали. Признали меня и говорят: «Вот, Тимофевна, народушко-то наш праведный за труды-то мои как отблагодарил! на пенсию-то мою воробыный мне паек выписал!» Ведь это как сказал-то! И верно, что вы думаете... дураки-то мы, ничего не разумеем... Какой такой воробыный? «А по фунту хлеба... на месяц!» Что вы думаете, верно! «Вот и бумажка с печатью всенародной прислана». Вынул бумажку, греку подал, а сам все кланяется, трясется. Стал грек разбирать-читать, еще подошли люди. Верно! По тыще рублей на месяц, на смех! А хлеб-то нонче... двенадцать тысяч фу-унт! Говорить стали которые, а тут с ружьем подошел, прислушал. «Над нашей властью смеешься, старый черт?» И всякими словами! Тебе, говорит, сдохнуть давно пора, а ты еще за народным хлебом трафишься! И всех разогнал. Да еще грозился подвалом! Какой народ дерзкий... А какая дача-то была-а...

Ушла, наконец. В Глубокую балку уйти? Рубить, рубить... А павлин и там слышен. Солнце словно заснуло, за Бабуган не хочет. А, Жаднюха заявила, на мои руки смотрит... Ага, у меня миндалек, вот что. Я разламываю его на крошечки. Ну, поди ко мне, ласковая моя. Давай-ка сядем, и я расскажу тебе сказочку...

Я усаживаюсь на краю балки, сажаю Жаднюху на колени и тихо глажу. Она начинает заводить глазки.

...Ну, слушай. Жил-был Иван Михайлыч, писал книжки. По этим книжкам и мы с тобой учились. Потом про Ломоносова писать начал. Ты, Жаднюха, даже и про

Ломоносова не знаешь, как и Тимофеевна, хоть ты и умная русская курочка... Тебе бы только миндалек есть. Ничего, ты честная курочка, и если тебя кормить, ты к Рождеству непременно отплатила бы мне яичком. Верно? Не спишь, плутишка... Знаю тебя, ты гордая курочка. Говорить только не умеешь. А если бы ты умела говорить... Ну, спи. С голоду спится. Так вот, про Ломоносова... Даже и премию ему дали... Была у нас в Питере такая Академия наук... Буржуи, конечно, там всякие сидели, «ученая рухлядь» всякая... Жаль, далеко ты не ходишь, а то бы послушала, как там, внизу, умные парнишки объясняют! Ну, вот эта самая «ученая рухлядь» за Ломоносова-то премию Ивану Михайлычу дала, медаль золотую. Ну, и... золотую медаль у него грек купил, который ему орешка-то положил, или татарин там, или еще кто... за пуд муки. Вот ты легонькая какая стала, и Иван Михайлыч тоже... совсем облегчился, и остались у него только... ничего не осталось, один Ломоносов в голове! И стал Иван Михайлыч за хлебом по горам лазить, как ты по балкам. За уроки ему платили щедро: полфунта хлеба и хорошее полено! Чего ты испугалась! Ляля-то кричит... У меня спи спокойно, не дрожи... Да, полено. Очень уж он полену-то радовался! Человек старый, холодно зимой про Ломоносова-то писать, а за дровами-то в балку надо. Куда ему зимой в балку! А скоро и поленья перестали давать: некому и учиться стало, голод. И вот на прошение Ивана Михайлыча прислали ему бумагу – пенсию! По три золотника хлеба на день! А знаешь ли что, Жаднюха... да уж не спутали ли они? Может, это они про тебя прознали, что на горке такая умная курочка живет-голодает... да тебе и назначили?... Ты чего опять? Мало, что ли?! Три-то золотника?!..

Тебе бы, дурашке, гордиться надо... Вот и рассказал тебе сказочку. Ну, гуляй. Ишь как Лярва-то прекрасно гуляет! Гуляй и ты.

Ковыляет по павлиньему пустырю, за балкой, хромая рыжая кляча – остов. Пройдет шага два – и станет. Понюхает жаркий камень, отсохшее, колкое перекасти-поле. Еще ступит: опять камень, опять желтенькая колючка. Отведет голову на волю – море: синее и пустое. Отвернется, ступит. На ее боках-ребрах грязной медью отсвечивает солнце.

Это – кобыла Лярва, с дачи под пустырем, где старый Кулеш стучит колотушкой по железу, выкраивает из старого железа новые печки – в степь повезут обменивать на картошку. Давно не запрягает ее хозяин. Надорвалась весною, как возила тощенького старичка-покойничка на кладбище, – с тех пор хиреет. Ходит старуха хитро, упасть боится. Упадет – не встанет. Приглядывается к ней Вербина собака, Белка: чувствует.

Умирующие кони... Я хорошо их помню.

Осенью много их было, брошенных ушедшей за море армией добровольцев. Они бродили. Серые, вороные, гнедые, пегие... Ломовые и выездные. Верховые и под запряжку. Молодые и старые. Рослые и «собачки». Лили дожди. А кони бродили по виноградникам и балкам, по пустырям и дорогам, ломались в сады, за колючую проволоку, резали себе брюхо. По холмам стояли-ожидали – не возьмут ли. Никто их не брал: боялись. Да и кому на зиму нужна лошадь, когда нет корма? Они подходили к разбитым виллам, протягивали головы поверх заборов: эй, возьмите! Под ногами – холодный камень да колючка. Над головой – дождь и тучи. Зима вступает. Вот-вот снегом с Чатырдага кинет: эй, возьмите!!

Я каждый день видел их на холмах – там и там. Они стояли недвижно, мертвые и – живые. Ветер трепал им хвосты и гривы. Как конские статуи на рыжих горах, на черной синеве моря – из камня, из чугуна, из меди. Потом они стали падать. Мне видно было с горы, как они падали. Каждое утро я замечал, как их становилось меньше. Чаше кружились стервятники и орлы над ними, рвали живьем собаки. Дольше всех держался вороной конь, огромный, – должно быть, артиллерийский. Он зашел на гладкий бугор, поднявшийся из глубоких балок, взошел по узкому перешейку и – заблудился. Стоял у края. Дни и ночи стоял, лечь боялся. Крепился, расставив ноги. В тот день дул крепкий норд-ост. Конь не мог повернуться задом, встречал головой норд-ост. И на моих глазах рухнул на все четыре ноги – сломался. Повел ногами и потянулся...

Если пойти на горку – глядеть на город, увидишь: белеют на солнце кости. Добрый был конь – артиллерийский, рослый.

Лявва подобралась к веранде, где вонючие укусные деревья. Вытянулись деревья – не даются. Так и будет стоять, пока не возьмет хозяин. Ходит за ней павлин, поглядывает на ее хвост-мочалку – а пока землю долбит.

Некуда глаза спрятать...

По горам тени от облачков, играют тенями горы. Посветлеют и потемнеют.

Про Бабу-Ягу

Я сижу на обрыве. Черная стена шифера падает в глубину – там в ливни шумят потоки. Вид отсюда – на весь Уголок внизу. Там, вдоль пустынного пляжа, уныло маячат дачки, создававшиеся любовно, упорным трудом всей жизни – тихий уют на старость. Там – весь Профессорский Уголок, с лелеянными садами, где сажались и холились милые розы, привитые «собственной рукой». Где кипарисами отмечались этапы жизни, где мысль покоряла камень. Где вы теперь, почтенные созидатели – профессора, доктора, доценты, – насельники дикого побережья земли татарской, близорукие и наивные, говорившие «вы» – камням? кормильцы плутов-садовников, покорно платившие по счетам мошенников всех сортов, занятые «прохождением Венеры через диск солнца», сторонники «витализма и механизма», знатоки порфиритов и диоритов, продумыватели гипотез, вскрыватели «мировой тайны»? Продумали вы свои дачки и винограднички! Без вас решены все тайны.

Ваши дворники волокут на базар письменные столы и кресла, кровати и умывальники; книги ваши забрал хромой архитектор, а садовники ободрали ваши складные стулья и нашили себе штанов из парусины. Плюнули в кулаки – махом одним сволокли «рай» на землю! Где вы теперь, рассеянные мечтатели?..

Бежали – зрячие. Под землю ушли – слепые. «Читают» что-то за воблу, табак и полфунта соли – уставшие.

Дачки, дачки... Из той вон, серой, с черепичной крышей, взяли семерых моряков-офицеров доверчивых – угнали за горы и... «выслали на Север»... А в этой, белой и тихой, за кипарисами, милый старичок жил, отставной казначей какой-то. Любил посидеть у моря, бычков ловить. Пятилетняя внучка камушки ему приносила:

– А вот сельдолик, дедя!

– Ну какой это сердолик! Нет, не сердолик это, а... шпат!

– Спать... А какой сельдолик, дедя?

– Такой... прозрачный, как твои глазки. А сейчас мы бычка изловим... Вот и поищи сердолика... а вот и бычок-шельмец!

Любил ранним утром, когда так хорошо дышать, пойти с травяной сумочкой на базар, за помидорчиками и огурчиками, за брынзой... Так и попался с сумочкой. Пришли люди с красными звездами, а он, чудак, за помидорчиками на базар идет, на синее море любит, синий дымок пускает.

– Стой, тебе говорят, глухой черт! Почему шинель серая, военная? погонная?!

– А... донашиваю, голубчики... казначеем когда-то был...

– Чем занимаешься?

– Бычков ловлю... да вот, на базар иду. На пенсии я теперь, от Белого Креста пенсию получаю... вольный теперь казак.

– С Дону казак? За нами!

И взяли старичка с сумочкой. Увезли за горы. Сняли в подвале заношенную шинель казачью, сняли бельешко рваное, и – в затылок. Плакала внучка в пустой дачке, жалели ее люди: некому теперь за помидорчиками ходить, бычков ловить... Чего же, глупая, плакать?! За дело взяли: не ходи за помидорчиками в шинели!

Некуда глаза спрятать...

Вон, под Кастелью, на виноградниках, белый домик. До него версты три, но он виден отчетливо: за ним черные кипарисы. Какие оттуда виды, море какое, какой там воздух! Там рано расцветают подснежники, белый фарфор кастельский, и виноград поспевает раньше – от горячего камня-диорита, и фиалки цветут на целую неделю раньше. А какие там бывают утра! А сколько же там дроздов черных поет весною, и как там тихо! Никто не пройдет, не проедет за день. Вот где жить-то!..

Вчера ночью пришли туда – рожи в саже. Повернули женщин носами к стенке: не подымать крику! Только разве Кастель услышит... Последнее забрали: умирайте. А на прощание ударили прикладом: помни! А этой ночью вон за той горкой...

Поторкивает-трещит по лесистым холмам – катит-мчит. Автомобиль на Ялту? Пылит по невидимой дороге. В горы, в леса уходит. Автомобили еще остались, кого-то возят. Дела, конечно. Без дела кто же теперь кататься будет! Я смыкаю глаза в истоме, дремотно, сквозь слабость слышу: то наплывает, то замирает торканье. Грохот какой ужасный, словно падают горы. Или это кровью в ушах гудит, шумит водопадами в голове... С чего бы это? Кружится голова – вот-вот упадешь, сорвешься. А, не страшно. Теперь ничего не страшно.

Я опираюсь на кулаки, вглядываюсь к горам сквозь слабость. Зеленое в меня смотрит, в шумах – дремучее... Погасает солнце, в глазах темнеет... Ночь какая упала! Весь Бабуган заняла, дремучая. Дремучие боры-леса по горам, стена лесная. Это давние те леса. Их корни везде в земле, я их вырубаю мукой. О, какие они дремовые – холодом от них веет лесным подвалом! Грызть-продираться через них надо, железным зубом. Шумит-гремит по горам, по черным лесам-дубам грохот какой гудящий! Валит-катит Баба-Яга в ступе своей железной, пестом погоняет, помелом след замечает... помелом железным. Это она шумит, сказка наша. Шумит-торкает по лесам, метет. Железной метлой метет.

Гудит в моей голове черное слово – «метлой железной»! Откуда оно, это проклятое слово? кто его вымолвил?.. «Помести Крым железной метлой»... Я до боли хочу понять, откуда это. Кто-то сказал недавно... Я срываю с себя одолевшую меня слабость, размыкаю глаза... Слепящее солнце стоит еще высоко над раскаленной стеной Куш-Каи, зноем курятся горы. Катит автомобиль на Ялту... Да где же сказка?

Вот она, сказка-явь! Пора, наконец, привыкнуть.

Я знаю: из-за тысячи верст, по радио, долетело приказ-слово, на синее море пало:

«Помести Крым железной метлой! в море!»

Метут.

Катит-валит Баба-Яга по горам, по лесам, по долам – железной метлой метет. Мчится автомобиль за Ялту. Дела, конечно. Без дела кто же теперь кататься будет?

Это они, я знаю.

Спины у них – широкие, как плита; шеи – бычачьей толщи; глаза тяжелые, как свинец, в кровяно-масляной пленке, сытые; руки-ласты могут плашмя убить. Но бывают и другой стати: спины у них – узкие, рыбы спины; шеи – хрящевый жгут; глазки востренькие, с буравчиком; руки – цапкие, хлесткой жилки, клещами давят...

Катит автомобиль на Ялту, петлит петли. Кружатся горы, проглянет и уйдет море.

Высматривают леса. Приглядывается солнце, помнит: Баба-Яга в ступе своей несется, пестом погоняет, помелом след замечает... Солнце все сказки помнит. И добела раскаленная Куш-Кая, плакат горный. Вписывает в себя. Время придет – прочтется.

С визитом

Опять я слышу шаги... А, какой день сегодня!

Кто-то движется за шиповником, стариковски покашливает, подходит к моим воротцам. Странная какая-то фигура... Неужели – доктор?!

Он самый, доктор. Чучело-доктор с мешковиной на шее – вместо шарфа, с лохматыми ногами. Старик доктор, Михаила Васильич, – по белому зонтику признаешь. Правда, зонтик теперь не совсем белый, в заплатках из дерюжки, – но все же зонтик. И за нищего не сойдет доктор: в пенсне – и нищий! Впрочем, что теперь невозможно?!

Да, доктор. Только не тот старичок доктор, у которого индюшка расколотила чашку, – тот на самом тычке живет, повыше, – а другой, нижний доктор, из садов миндальных. Чудесные у него сады были! Жил он десятки лет в миндальных своих садах, жил одиноко, глухо, со старухой нянькой, с женой и сыном. Химией занимался, вегетарианил, опыты питания над собой и семьей делал. Чудак был доктор.

– А, доктор!..

– Добрый день. Вот и к вам, с визитом. Хорошо здесь у вас, высоко... далеко... не слышно...

– А чего слушать?..

– Мне доводится-таки слушать... матросики у меня соседи, с морского пункта, за морем наблюдают. Ну, и... приходится слушать всякие поэтические разговоры, эту самую «словесность». Да, язык наш очень богатый, звучный... Как у вас тихо! никаких таких звуков, в стороне от большой дороги. Да у вас прямо молиться можно! Горы да море... да небо...

– Есть и у нас звуки и... знаки. Прошу, доктор!

Мы садимся над Виноградной балкой – в дневном салоне.

Эй, фотограф! бери в аппарат: картинка! Кто эти двое, на краю балки? эти чучела человечьи? Не угадаешь, заморский зритель, в пиджаках, смокингах и визитках, бродящий беспечно по авеню, и штрассам, и стритам. Смотри, что за шикарная обувь... от Пиронэ, черт возьми! от поставщиков короля английского и президента французского, от самого черта в ступе! Туфли на докторе из веревочного половика, прохвачены проволокой от электрического звонка, а подошва из... кровельного железа!

– Практичная штука, месяц держит. На постолы татарские не могу сбиться, а все мои «европейские» сапоги и ботинки... тю-тю! Слыхали – все у меня изъ-я-ли, все «излишки»?.. Как у нас раз-де-вать умеют! ка-ак у-ме-ют!.. что за народ способный!..

Я слыхал и другое. Отняли у доктора и полфунта соломистого хлеба, паек из врачебного союза.

– Да, кол-ле-ги... Говорят коллеги, что теперь «жизнь – борьба», а практикой я не занимаюсь! А «нетрудящийся да не ест»! И апостола за бока, на потребу если...

Он смотрит совсем спокойно: жизнь уже за порогом. Совсем белая, кругло подстриженная борода придает его стариковскому лицу мягкость, глазам – уютность. Лучистые морщинки у глаз и восковой лоб в складках делают его похожим на древнерусского старца: был когда-то таким Сергей Преподобный, Серафим Саровский... Встреть у монастырских ворот – подашь семитку.

Доктор немного странный. Говорят про него – чудашный. Продал недавно участок миндального сада с хорошим домом, выстроил себе новый домик, «из лучинок», а остаток денег выменял на катушки ниток, на башмаки и на платье.

– Ведь деньги скоро ничего не будут стоить!

И вот, у него отняли все катушки, все штаны и рубашки – все «излишки». В этом году он похоронил старуху няньку, сумасшедшего сына Федю и жену – недавно.

– Наталья Семеновна моя всегда была строгая вегетарианка, и вот, цингой заболела. Последние дни – все равно, думаю, опыт кончен! – купил я ей на последнее барашка, котлетки сделал... С каким восторгом она котлетку съела! И лучше, что померла. Лучше теперь в земле, чем на земле.

У доктора дрожат руки, трясется челюсть. Губы его белесы, десны синеваты, взгляд мутный. Я знаю, что и он – уходит. Теперь на всем лежит печать ухода. И – не страшно.

– А слышали, какой я ей оригинальный гроб справил? – прищурился-усмехнулся доктор. – Помните, в столовой у нас был такой... угольник? ореховый, массивный? Абrikосовое еще варенье стояло... из собственных абrikосов. Ах, что за варенье было! Четыре банки они этого варенья взяли, все, что было. Конечно, абrikосов они не растили, варенья этого не варили, но... они тоже хотят варенья, а потому!.. Конечно, это уже другая геометрия... Эвклид-то уже, говорят, провалился с треском, и теперь по Эйнштейну... Да, о чем это я?.. Вот так память!..

Доктор потирает вспотевший лоб и смотрит виновато-жалко. Я его навожу на мысли.

– А, угольник... Наталья Семеновна очень его ценила... приданое ведь ее было! И звали мы его все – «Абrikосовый угольник»! Понимаете вы отлично, как в

каждой семье милые условности свои есть, интимности... поэзия такая семейная, ей одной только и понятная! В вещах ведь часть души человеческой остается, прилипает... У нас еще диван был, «Костей» звали... Студент-репетитор на нем спал, Костя. И «Костю» забрали... Забрали у меня, например, портрет отца-генерала... единственное воспоминание! «Генерала забрать!» Забрали! И генерал-то мирный, ботаникой занимался...

– Так вы про угольник, доктор...

– Да-да... Когда мы еще молодые с ней были... Неужели это было?! Лет тридцать тому приехали мы сюда, и я засадил пустырь миндалями, и все надо мной смеялись. Миндальный доктор! А когда сад вошел в силу, когда зацвел... сон! розовато-молочный сон!.. И Наталья Семеновна, помню, сказала как-то: «Хорошо умереть в такую пору, в этой цветочной сказке!» А умерла она в грязь и холод, в доме ограбленном, оскверненном... Да, со стеклянной дверцей, на ключике... Право, нисколько не хуже гроба! Стекло я вынул и забрал досками. Почему непременно шестигранник?! Трехгранник и проще, и символично: три – едино! Под бока чурочки подложил, чтобы держался, – и совсем удобно! Купить гроб – не осилишь, а напрокат... – теперь напрокат берут, до кладбища прокатиться!.., а там выпрастывают... – нет: Наталья Семеновна была в высшей степени чистоплотна, а тут... вроде постели вечной, и вдруг из-под какого-нибудь венерика-кошкоеда или еще хуже! А тут свое, и даже любимым вареньем пахнет!..

И он запер свою Наталью Семеновну на ключик.

– Хотели бандаж мой взять! ремни приглянулись... Забыли! А у меня бандаж... по моему рисунку у Швабе сделан! Теперь ни Швабе, ни... один Грабе! Все забрали. Старухины юбки, нянькины – и то взяли. «Я, – говорит, – с трудом пошилась!» Швырнули одну: «Ты, – говорят, – раба!» Все гармоньи взяли. Я туляк, еще с гимназии полюбил гармонью... Концертные были, с серебряными ладами... Затряслись даже, как увидали... Гармонь! Тут же и перебирать один принялся... польку...

Штаны на докторе – не штаны, а фантастика: по желтому полю цветочки в клетках.

– Из фартуков няниных, что осталось. А внизу у меня дерюжина, да только в краске, маляры об нее кисти, бывало, вытирали. А пиджачок этот еще в Лондоне был куплен, износу нет. Цвет, конечно, залакировался, а был голубиный...

Я всегда думал, что пиджак черный, с кофейной искрой.

– Это все пустяки, а вот... все градусники у меня отобрали, и максимальные, и... Три барометра было, гигрометр, химические весы, колбы... Реактивы хотели... – думали, что настойки! Схватили бутылку – спирт!! Да нашатырный! Буржуем обозвали.

– А который теперь час, доктор?

– Де-крет! – пугливо-строго говорит доктор и поднимает черный от грязи палец. – Часы теперь строго воспрещены, буржуазный предрассудок!

Нет, он не собирается уходить. Он переполнен своим и разбрасывает «излишки».

– Но я без часов могу, потому что читал когда-то Жюль Верна...

Он прищуривается на солнце, растопыривает пальцы и глядит в развилку. Он поматывает пальцем то к Кастели, то к седловине за Бабуганом.

– Помните, у Жюль Верна... Сайрус Смит в «Таинственном острове» или Паганель!.. Как это давно было, и как все-таки хорошо, что было, и у нас тогда они не изъяли книги! И я в том же роде изловчаюсь. Могу до пяти минут с точностью, если солнце... Сейчас... без десяти минут час. Мысленными линиями по вершинам, зная максимальную высоту... А вот в туман или вечернее время... по звездам еще не изловчился. Ах, как без часов скучно! У нас все по часам было. Ложились без четверти десять, вставал я в половине пятого ровно. И сорок уже лет так. Трое часиков было – взяли. Английские очень жаль, луковицей. Старинные лорды такие часы любили, часы на совесть. Но какая история роковая!.. Неужели вам не рассказывал?! Необходимо опубликовать. Это очень важно, в предупреждение человечеству! Чрезвычайно важно!.. – Ну, расскажите, доктор!

«Мemento мори»

Доктор поглядел на меня с укором.

– Вы как будто не верите, что это имеет отношение к человечеству... история с моей «луковицей»? Напрасно. В этом вы сейчас убедитесь. Есть в вещах роковое что-то... не то чтобы роковое, а «амулетное». Как хотите толкуйте, а я говорю серьезно: во всех этих газетах, которые вот «влияют»... «Тайме» или., как там... «Чикаго трибюн», «Тан», понятно... – непременно опубликуйте! Я уже не смогу, я без пяти минут новопреставленный раб... не Божий, не Божий, а... человеческий! и даже не человеческий!! Да чей же я раб, скажите?! Ну, оставим. А вы... должны опубликовать! Так и опубликуйте: «„Мemento мори“, или „Луковица“, бывшего доктора, нечеловеческого раба Михаила». Это очень удачно будет: «нечеловеческого»! Или лучше: нечеловечьего!

Он, чудак, говорил серьезно, даже взволнованно.

– Это случилось лет пятьдесят тому... в тысяча восемьсот... Нет, конечно... ровно сорок лет тому, в восемьдесят первом году. Мы с покойной Натальей Семеновной путешествовали по Европе, совершали нашу свадебную и, понятно, «образовательную» поездку. В Париже мы погостили недолго, меня упорно тянуло в Англию. Англия! Заманчивая страна свободы, Габеас-Корпус... парламент самый широкий... Герцен! Тогда я был молод, только университет окончил, ну, конечно, революционная этафебрис... Ведь без этой «фебрис» вы человек погибший! Да еще в то-то героическое время! Только-только взорвали «Освободителя», блестящий такой почин, такие огнесверкающие перспективы, в двери стучится со-ци-ализм, с трепетом ждет Европа... температурку-то понимаете?! Две вещи российский интеллигент должен был всегда иметь при себе: паспорт и... «фебрис революционно»! О паспорте правительство попечение имело, а что касается «фебрис»-то этой самой... тут круговая порука всех российских интеллигентов пеклась и контроль держала, и их вождей! Чуть было не сказал – козлов! Но не в обиду вождям, а по русской пословице нашей: «Куда козел – туда и стадо»! Разные, конечно, и вожди эти самые бывали... были и такие, что и в России-то никогда не живали... бывали и такие, что... собственную мамашу удавят ради «прямолинейности»-то и «стройности» системы своей-чужой, а ты... дрожи! Там хоть ты и пустое место, и пьяница, и дубина сто восемьдесят четвертой пробы, и из карманов носовые платки можешь... только дрожи и дрожи дрожью этой самой, правительству невыносимой, – и вот тебе

авансом билет на свободный вход в царство «высокое и прекрасное». И не без выгоды даже. Я не дрожал полной-то дрожью, а лихорадило не без приятного жара! Без слез, но подрагивал. Ах, зачем я не оставляю в поучение поколениям «Записок интеллигента Т-ва Мануфактур и Ко»?! Теперь все равно, без пользы. Смотрите-ка, повалилась кляча!..

Да, Лярва легла, вытянув голову к недоступной тени. Ноги ее сводило. Пораженный ее новым видом, павлин проснулся и закричал пустынно. Из тенистой канавки, под дачкой, выбралась тощая Белка и огляделась.

– Как в трагедии греческой! – усмехнулся доктор. – Разыгрывается под солнцем. А «герои»-то!.. за амфитеатром... – обвел он рукой горы. – То есть боги. В их власти и эта кляча несчастная, как и мы. Впрочем, мы с вами можем за «хор» сойти. Ибо мы, хоть и «в действии», но прорицать можем. Финал-то нам виден: смерть! Вы согласны?

– Вполне. Все – обреченные.

– До этого дойти надо! Дошли? Прекрасно. О чем я начал? Память совсем никуда... Да, «фебрис» эта... Габеас-Корпус, Герцен, Гамбетта, Гарибальди, Гладстоун!.. Странная штука, вы замечаете – все «глаголи»! Тут, обратите внимание, что-то мистическое и как бы симво-листи-ческое! Гла-голи! Конечно, и в Англии я глаголил. И «мощи» заповедные посещал, и поклонялся им не без трепета, и фимиам воскурял. И даже в Гайд-Парке пару горячих подал. Воздух самый какую-то особенную прививку там делает: непременно хулой колыбельку свою – правда, грязненькую, но все-таки колыбельку – обдашь, грязненькие очки наденешь. И конечно: «Да здравствует Революция – с прописной буквы, понятно, из уважения, – и переат полицеа!» И вот, пошел покупать часы. Зашли мы с Наташей... Тогда я ее Наталочкой звал, а в Лондоне – Ната и Нэлни, на английский манер. А теперь... на ключике в угольничке абрикосовом!.. Да так и предстанет перед Судиею на Страшный суд! – скрипуче засмеялся доктор. – Вострубит Архангел, как надлежит по предуказанному ритуалу: «Эй, вставайте, вси умерщвленные, на инспекторский смотр!» И восстанут – кто с чем. Из морских глубин, с чугунными ядрами на ногах, из оврагов предстанут, с заколоченными землею ртами, с вывернутыми руками... из подвалов даже – с пробитыми черепами предстанут на суд и подадут обвинение! А моя-то Наталья Семеновна – на клю-чик! Да ведь хохот-то какой, грохот подымется! водевиль! И еще... ах-ха-ха-а!.. с... с абри... косовым... вареньем... в мешковине...из-под картошки в мешочек обряжена!.., ведь все, все забрали у нее, все рубашечки...

все платья... для женского пола своего... все «излишки»! ведь в ее-то платьях... шелковое зеленое ее помню... Настюшка Баранчик с базара, из «татарской ямки», потом выще-галивала!.. Вот бенефис-то будет! Архангелы-то рты разинут! Сам Господь Саваоф...

Доктор вскочил внезапно и затрепал в ладоши:

– Ш-ши ты, подлая, окаянная псина!.. Белка скакнула через Лявву и юркнула за дачку. Павлин стоял в головах Ляввы, тряс радужным хвостом-опахалом и топтался. – Глядите, он ее провожает! – воскликнул доктор. – Вот так апофеоз! Ну, как же не из трагедии?! – Он потер лоб и сморщился. – Как сон какой-то... И что за память дырявая! Сегодня я забыл – «Отче наш»! Три часа вспоминал – не мог! Пришлось открывать молитвенник. Я по поводу этого должен сделать интересное обобщение, но это потом... А теперь... Да о чем же я говорил-то?..

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Ценный сорт яблок.

2

Колючий кустарник с ягодами, похожими на ежевику.

3

Название французского магазина.

4

Виноградный черенок.

Купить: https://tellnovel.com/shmelev_ivan/solnce-mertvyh

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)